



проза

Эдуард Трескин

Валерка-псих

Двор был усеян битым стеклом и мелкими белыми камешками. Их хорошо – даже слишком – ощущали босые ноги.

Я выбежал во двор с индейским кличем – там никого не было.

Утреннее солнце чуть-чуть пригревало, тени от домов и сараев накрывали почти весь двор, и только возле высокого дуба было светло – с восточной стороны. Я присел на корточки – зябко.

– Привет, Индюк. Дрожишь? А чего это ты босиком выскочил?

Из двора, прозванного «цыганским», вышел приклатненной небрежной походкой Валерка-псих. Ему было четырнад-

цать. Рослый и плечистый, он напоминал Аркадия Гайдара о ту пору, когда тот командовал полком.

Валерка полком не командовал, но его и так все боялись, потому что он был – псих.

– Я закаляюсь.

– А-а, «если хочешь быть здоров, закаляйся», – пропел Валерка баском, – ладно, закалиться успеешь, пошли.

Он мотнул чубатой головой в сторону старой облезлой скамьи, что размещалась под боярышником, и направился туда, причем походка его изменилась и приобрела черты суровости – так идут на плаху.

Я уже знал, что сейчас начнется – мы будем играть.

Игра была всегда одна и та же. По теперешним понятиям, ее можно было бы назвать сериалом – с той только особенностью, что каждая предыдущая серия кончается смертью героя, а в каждой последующей он неожиданно оказывается жив, чтобы снова непременно умереть.

Героем был Валерка, а убивал его я.

Собственно, героями были мы оба, а убийство всякий раз происходило по роковому недоразумению. Согласно сценарию, я был сыном, случайно убивающим отца, неузнанного им и непонятого. По возрасту Валерка не годился мне в отцы, так как был старше всего на восемь лет. Но и старшим братом ему быть не хотелось: во-первых, не так драматично бы выглядела эта история, а, во-вторых, Валерка не представлял, видимо, какие взаимоотношения бывают со старшими братьями, поскольку братьев у него вообще не было. А отец был. Чисто теоретически.

Валерка дошел до скамьи искомандовал:

– Пошел!

– Та-та-та-та-та!.. – завопил я, имитируя автоматную очередь, и одновременно со всех ног кинулся к дубу, чтобы укрыться от Валеркиного огня. Псих стрелял из парабеллума – так у нас уж было условлено, что у меня – советский автомат, а у него – немецкий пистолет. Чисто теоретически. Поскольку оружие мы изображали пальцами, руками, жестами и голосами.

– Кых, кых, кых, – стрелял Валерка. Свистели пули, от дуба отлетали щепки и кора, а сверху сыпались блестящие, словно гильзы, желуди.

– Перебегай за угол, – кричал Валерка, – быстрее, а то я попаду!

И добавлял в воображаемую рацию:

– Йа, йа, херр обер, счас мы прикончим эту партизанскую сволочь!

А сволочь, то есть я, в это время должна была бросить гранату, чтобы Валерку вначале контузило – так уж у нас было условлено.

Я подобрал комок земли и приготовился метнуть его, заранее предвкушая, как всамделишно он разлетится на осколки. Но в это время дверь подъезда нашего дома заскрипела ржавыми петлями, звякнула не менее ржавой пружиной, медленно открылась и вытолкнула во двор Василь Василича. Он оперся одной рукой о косяк, чтобы не упасть от дверного толчка, а другой с трудом выдернул дверь же прищемленную сумку – старую и потертую, как и он сам.

– Молодой человек, – сказал он, обращаясь к Валерке, – я вас очень прошу..

Тут он увидел меня, потому что я вылез из-за дуба, так и не опустив руку с гранатой «на изготовку».

– Молодые люди, – умоляюще и тихо сказал он, – я вас очень прошу не шуметь в столь ранний час.

– Какой-токой ранний час, – огрызнулся Валерка, – скоро уж обед.

– Да, да, Валерий, – закивал согласно Василь Василич, – вы абсолютно правы. Вот я за обедом как раз и иду. А Зинаида Васильевна всю ночь опять не спала. Вы уж потише, пожалуйста.

– Ладно, чего там, – презрительно сказал Валерка, – пошли отсюда, Индюк.

– Вы не так меня поняли, Валерий. Играйте, пожалуйста, но только уж чуточку потише, – пролепетал Василь Василич.

– Пошли, Индюк, – повторил Валерка, – все равно настроение уже сбили.

Василь Василич пожевал губами, похлопотал лицом, пытаясь сказать что-то в свое оправдание, а потом повернулся и медленно-медленно побрел через двор в направлении химико-технополи-

Эдуард Трескин (1946) родился в Казани. Оперный певец. Народный артист Татарстана. Солист Пражской государственной оперы. Автор рассказов, повестей, эссе, стихов, сценариев, стихотворных переводов с польского, белорусского, татарского, венгерского, чешского, французского

ческого института. Там, в студенческой столовой, он брал обеды для себя и своей жены Зинаиды Васильевны. Он шел через двор, и казалось, что движется серый мятый плащ, сам собою снявшийся с вешалки. Шаркали калоши, в коих Василь Василыч ходил и в летнюю пору, да звякали в сумке кастрюльки, как бы заранее протестуя против студенческой бурды.

– Тише, говорит, – ворчал Валерка, – молодые люди, молодые люди... А сам с сеструхой живет.

– С женой, – поправил я, – он для нее за обедом ходит.

– С женой, говоришь? – Валерка остановился и посмотрел на меня как на полного несмышленища.

– А с чего же это у них отчество одинаковое, а?

– Не знаю, – сказал я.

– Вот то-то, – Валерка сплюнул сквозь зубы метра на три, – то-то. Мал ты еще.

Я обиделся.

– Ну да, мал. Небось, как убивать тебя, Валерка, каждый день, так не мал.

– Да ладно, ладно, не дави соплю. Это же мы понарошку. Одним словом – играм.

– Играм, – охотно повторил я, хотя хорошо знал, что правильно будет – играем.

– А куда мы сейчас, Валерка, на подловку, да?

Подловкой назывался большой теремообразный сарай в цыганском дворе. Там держали дрова и всякую рухлядь. А на втором этаже этого сарая, в незапамятные времена бывшего незнамо чем – то ли сенником, то ли амбаром – находилось довольно просторное помещение. Попасть туда можно было через лаз – прямоугольник в деревянной стене. Лаз был узкий, и совершенно непонятно, каким образом в этой комнате без окон, без дверей оказалась довольно внушительных размеров железная кровать. Допотопная, скрипучая, она была завалена каким-то тряпьем. Неизвестно, ночевал ли кто-нибудь тут, но играть сюда мы приходили частень-

ко. Обычно на этой кровати Валерка и умирал.

– Нет, не на подловку, – ответил Валерка.

Я облегченно вздохнул, потому что меня дома ругали за визиты в сарай. Если узнавали, конечно.

– На подловку мы пойдем попозже. А сейчас айда к суворовскому. Мне там один сурик кое-что должен, – с загадочной интонацией сказал он.

Суворовское училище – мечта всех мальчишек – находилось всего в одном квартале от нашего двора. Туда можно было бы добежать за две минуты – если выйти на улицу, ведущую прямоком к проходной или, точнее, пропускному пункту. Но Валерка был не только психом, но и романтиком. В результате мы потратили на дорогу минут 15, зато прошли через три двора и перелезли через четыре забора. В одном из дворов Валерка даже остановился, чтобы поиграть в махнушку, или зоску, – кому как нравится. Он неутомимо подкидывал то одной ногой, то другой маленький кусочек меха, подбитый свинцом. Лицо его изображало веселую злость, а сам он чем-то напоминал – как я понял впоследствии – танцующего Шиву.

– У нас в школе Сережка Пастухов, второгодник, триста раз махнушку подбросил без передыху, – сказал один из зрителей, следя за яростными движениями Валерки.

– Ух ты, здорово, – восхитился другой, – и что, много выиграл?

– А то! Грыжу, правда, заработал – на «скорой» увезли.

– Девяносто восемь, девяносто девять, сто! – закончил Валерка, – гони монету, рыжий.

– Что ты, Валерка, мы не на деньги, мы просто так... – заскулил рыжий.

– Вы – так, а я – этак.

Валерка еще раз поддал зоску ногой, поймал на лету, как муху, и сунул в карман своих брезентовых штанов.

– Валерка, отдай, я тебе принесу деньги... потом.

– Вот потом и будет суп с котом. Пошли, Индюк.

– Валерка, отдай – им играть нечем будет, – я дернул его за карман.

– Играть? – Валеркины глаза заволокло чем-то туманным. – Ладно, хер с ними, пусть играют, – и он кинул махнушку под ноги рыжему.

О чем говорили Валерка и сурик – я не знаю, так как стоял поодаль.

Наверное, о чем-то важном, поскольку оба озирались. Сурик был ростом с Валерку, но тощий и нескладный. Зато черные брюки с красными лампасами отутюжены что надо, а от фуражки вообще нельзя было глаз оторвать.

Потом мы пошли обратно, но уже не дворами, а по улице, мимо трамвайной остановки. Валерка давно обещал мне показать, как надо ездить на колбасе, чтобы не свалиться под колеса. Колбасой назывался вылезавший сзади из-под трамвая буфер. Собственно, буфер торчал и спереди, несомненно придавая трамваю мужской атакующий вид.

Но на нем, конечно же, никто не пробовал ездить.

Мы стояли на остановке, ожидая трамвая. Позади нас шелестел листьями зеленый сквер, летний ветер раскачивал цветы и слабо, лениво гнал пыль вдоль тротуара. Асфальт был теплым, но все еще твердым – жара пока не пришла в город.

– Показать, чего мне сурик дал? – спросил Валерка.

– Что-о?

– Смотри, только тихо, руками не хватай.

На его широкой ладони тускло поблескивал медный цилиндрок.

– Это патрон от ТТ.

– Чего-чего?

– Патрон, говорю, от пистолета.

– От настоящего?

– А как же. Гляди, не вякни кому-нибудь.

– Валерка, а зачем тебе патрон? У тебя ведь пистолета нету.

– Нет, так будет, дай срок.

И тут к остановке подкатил трамвай. Нет, это был не тот, которого мы ждали – грохочущий, полудеревянный, с заманчивыми подножками и хлюпающими гар-

мошкой дверцами. Новый, с широкими окнами, чисто пахнущий машинным маслом и озоном, он подкатил к остановке так, будто прибыл оттуда, из внезапно возникшего будущего. Мягко звякнули тормоза, зашипела пневматика, и двери сами собой раскрылись, приглашая нас войти.

– Да, шикарный трамлик, – сказал Валерка, глядя вслед сияющему чуду. – Но... колбаса у него неважнецкая, на такой долго не усидишь.

– Да, – очарованно согласился я.

– Ладно, Индюк, пошли. В следующий раз дождемся старого. Колбасы, брат, на наш век еще хватит.

Мы подходили к нашему двору, когда Валерка спросил меня:

– А скажи, Индюк, что, по-твоему, самое дорогое?

– Не знаю, – ответил я. – Может быть, трамвай?

– Дурак ты! – сказал Валерка. – Я тебя про что, блядь, спрашиваю?

– Про дорогое, – сказал я.

Валерка остановился, положил мне руку на плечо и торжественно произнес:

– Запомни, Индюк, самое дорогое – это человеческая жизнь.

Я запомнил. Мы пошли дальше и вскоре оказались на подловке.

Поскольку перестрелка практически уже состоялась во дворе, где ее невольно прервало появление Василь Василича, развязка накатила стремительно. Я следовал указаниям Валерки, который был одновременно автором, режиссером, суфлером и исполнителем.

– Так, значит. Ты иди в угол, там как будто у тебя засада.

– Тут, Валерка, ничего нет, чтобы засаду сделать. Может, я в другой угол пойду – там вон какие-то ящики валяются, я за них и спрячусь.

– Нет, Индюк. Делай, как я сказал. Ящики – это ты хорошо заметил, но... далеко. Тут главное, чтобы – в упор.

Я шел в угол и вжимался в него, представляя, что меня не видно, что вокруг – кусты, а враг – вот он, рядом – осталось только курок нажать.

– Есть, – говорил Валерка кому-то

по рации, – есть, ваше задание выполнено.

Тут я выскакивал из угла, подбегал к Валерке и стрелял в упор.

Валерка вскрикивал, хватался руками за грудь и медленно заваливался на кровать. Пружины взвизгивали, от ружья взметывалась пыль, а Валерка суфлировал:

– Подходишь ко мне, хочешь документы из кармана вынуть, да нет, с другой стороны... Переворачивай, переворачивай меня.

– А-а-а, – издавал он героико-страдальческий стон, – а-а... сынок.

Здесь мне полагалось узнать его...

– Отец!

– Тихо, тихо... Поднимаешь меня и видишь – у меня... в сердце большая рана.

– Валерка, – робко сказал я, – а разве можно жить, когда большая рана в сердце, да еще разговаривать?

– Индю-ю-к, – сокрушался он, – мы же понарошку... играм.

Дальше по сценарию следовала Валеркина смерть, перед которой он прощал меня за нечаянное убийство отца.

Кем был отец – неясно. То ли разведчиком в тылу врага, то ли еще кем-то...

– Прощай, сынок, – выдыхал Валерка, – ты не все знаешь... живи... матери... скажи... пусть простит... передай нашим, что я...

Впрочем, умирал Валерка не всегда, вернее, не каждый день. Порою на него находил стих – остаться в живых. Не без страданий, конечно, не без потери памяти – где был, что делал, он как бы не помнил, хотя и подразумевалось что-то великое и непременно секретное, им содеянное.

В случае неумирания Валерки игра продолжалась на следующий день – с прятками, засадами, стрельбой и погоней.

Всякий раз Валерка связывался по рации с таинственным обер-лейтенантом и передавал ему «информацию».

– Иа, йа... яволь... нихт...о доннер-веттер!.. зольдатен унт офицерен... партизанен... лос, лос, лос... файер!.. Капут!

Похоже, что Валерка в школе учил немецкий язык – меня, шестилетнего, эти его лингвистические пассажи очень впечатляли.

Надо отметить, что он не выносил присутствия посторонних при наших играх – ни дворовых ребят, ни дворовых взрослых. Игра наша была явно из области метафизики – что-то неясное, необъяснимое в ней всегда присутствовало как некий необходимый элемент.

Я лишь однажды спросил Валерку, что это за обер-лейтенант такой и зачем это он, как бы мой отец, якшается с фашистами.

– У меня спецзадание, понял?

– А-а, – понимающе сказал я, – все ясно.

– Все ясно только дуракам, – сказал Валерка.

– Как это? – спросил я.

– А вот так. Меньше знаешь – дольше проживешь.

Валерка умел говорить так, что лишних вопросов задавать не хотелось.

Теперь я понимаю, что Валерка репетировал смерть. Свою или отца? Трудно сказать.

Убивал ли он отца моими невинными руками или же сам умирал за него, вместе него?

А может быть, просто чувствовал, что истинное ощущение жизни случается на грани ее со смертью?

Как-то, когда хэппи энд, то есть эффект узнавания, уже случился, внезапная очередь скосила нас обоих.

– Отец!

– Сын!

Объятия.

Та-та-та-та-та-та-та,

– Это, понял, случайно из пулемета хлестанули. Падаем. Падаем оба, я сказал. Да тихо ты, Индюк – играм же. Всё – нас убило.

Мы лежали на траве под утренним солнцем. За дощатым забором была улица. Там шли люди – кто быстро, а кто неспеша.

Пронеслась легковая машина, протарахтел грузовик. В соседнем маленьком дворе кололи дрова, а в нашем – боль-

шом и замысловатом – тоже шла своя жизнь – кто-то у колонки звонко наливал воду в ведро, доносились звуки радиомызыки, в отдалении кудахтали куры, что-то шуршало и ползало в траве, время от времени гудела пчела...

И все же отчего-то было очень тихо. Так тихо, что я услышал – Валерка не дышит. Я тоже задержал дыхание, чтобы лучше слышать. Он не дышал.

– Валерка, – закричал я, – Валерка, ты чего, а?

Он открыл глаза и посмотрел на меня и куда-то сквозь.

– Не ори, Индюк, нас же убило.

– Я так не хочу, Валерка, ты это... ты не дышал.

– Ну, и не дышал, что с того?

– Я... испугался.

– Не дрейфь, Индюк. Мы же играем.

Он помолчал и добавил:

– Я сейчас отца видел.

Я думаю, что Валерка по нутру был предназначен для оперы – так красиво он умирал, что твой Ленский или же Валентин, а то и грешный царь Борис. Но об этом я узнал позже. А пока я знал, что голос у меня лучше всех, пацаны не смеются, а, наоборот, просят, чтобы я показал, как кричит Тарзан в кино. И я охотно показывал, а они тоже пытались, но у них ничего не получалось. И тогда я снова кричал.

– Отец! – закричал я, повинуюсь сценарию.

– Сынок, – низко захрипел умирающий Валерка, – сынок, передай нашим, что я... – и он тянулся вверх, к свету, чтобы опрокинуться навзничь, мягко и бесшумно упасть на сцену и, закрыв глаза, услышать, как невидимый хор поет над телом героя...

– Эй, псих, а ну, иди сюда! – раздавалось со стороны лаза.

Свет, падавший оттуда, померк, и несколько крепких пацанов, примерно Валеркиных ровесников, один за другим влезли на подловку.

Первым был Вадька – сын слепого.

Слепых во дворе было двое. Семья одного из них жила в доме Валерки.

Вадька жил в подвале нашего дома, с дворовыми ребятами не водился – у него была своя компания, школьная. Наверное, ему несладко жилось в сыром подвале со слепым отцом и вполне зрячей мачехой – крикливой тетей Агашей. По субботам к ним в подвал приходили гости, пили и пели песни, из которых выделялась одна, самая противная – «Когда б имел златые горы». Голоса неслись из подвала, словно из тоскливого подземного царства, про которое я читал в сказке-эпосе «Даг сын Дага»... Но о чем я? Ах, да...

Этого-то Вадьку Валерка и отколотил на днях, отколошматил, отмутил.

Правда, по морде не бил, но Вадьке все равно было и больно, и обидно, тем более что произошло это при свидетелях. Вернее, при свидетеле – при мне.

– Иди сюда, гад, поговорим, – дрожа от предстоящей справедливости, повторил Вадька.

Валерка прервал сцену смерти и замер. Встать с кровати ему явно не хотелось.

– Ну, что молчишь, – спросил Вадька, подходя ближе, – язык в жопу втянуло?

Друзья его обступили кровать, на которой сидели мы с Валеркой.

– Мы... это... мы играем, – с достоинством обреченного сказал Валерка.

– Забздел, да?

Валерка задышал и покраснел. Я очень испугался, так как знал – если Валерка покраснел – хорошего не жди.

Кроме того – это я тоже знал – у Валерки был нож.

– Вадька, не надо, а? – сказал я, – мы... играем.

– Играм... – еще раз повторил Валерка. И тут случилось нечто необъяснимое, можно сказать – чудо. А еще вернее – ничего не случилось,

Вадька посмотрел на меня, на Валерку, на своих суровых бойцов, обвел взглядом пыльный никчемный сарай и протянул благородно:

– Ну, псих, скажи спасибо Индюку, а то бы...

Они ушли через лаз. Валерка сидел

на кровати, не двигаясь. Под крышей ворковали голуби и чей-то патефон во дворе наигрывал, конечно же, «Рио-Риту».

– Это ты скажи спасибо, – произнес Валерка вслед ушедшим.

Он подышал еще немного, но щеки уже побледнели.

– Все, Индюк, на сегодня хватит. Иди, тебя, наверно, дома ждут.

– Нет, Валерка. Мать на работе, отец на рыбалке, а бабушка на базар пошла.

– Иди, иди. Завтра доиграем, – неожиданно правильно и даже мягко сказал Валерка и отвернулся с таким видом, как будто он – Чапай и сейчас «думать будет».

Но назавтра нам играть не пришлось. Кто-то наябедничал моей матери, что мы с Валеркой опять были на подловке «и что там делали – неизвестно».

– Тебе сколько раз говорили, чтобы не подходил к этому хулигану, – возмутились наперебой мать и бабушка.

– Ишь, связался черт с младенцем!

– Ему жениться пора, а он с ребенком, видите ли, играет.

– Псих!

– Псих, точно.

– Он не псих, – говорил я, – он меня плавать научит.

– Да, да, этот научит, этот такому научит, что ахнешь.

– Поймай, а кто там с вами еще был? Может, Лялька Зайцева, прости господи?..

– Нет, никого не было.

Про Ляльку Зайцеву говорили, что она «дает». Что дает, я толком не знал, но все равно волновался.

– А, может, все-таки была? Вы не в больницу, случайно, играли?

– Н-н-нет, – сказал я, запинаясь, и присел на краешек кровати.

Пресловутая «больница» была той запретной игрой, которая страшно пугала всех родителей нашего – да и не только нашего – двора.

– Правда? – мать села со мною рядом.

– Правда.

– А почему краснеешь? – сказала мама. Это был безотказный прием – мои щеки тут же налились жаром,

– Так. Все ясно. Пора с этим кончать, – мать решительно поднялась с кровати и шагнула к вешалке. Брякнула пряжка отцовского широкого ремня, висевшего там до поры. Бабушка жалостливо охнула:

– Не надо, доченька.

– Надо, мама, – и вместо ремня мать сняла с крючка жакетку, в которой ходила на работу в Министерство культуры. Считалось, что серая эта жакетка ей очень идет, а к тому же придает вид деловой и ответственный.

– Куда ты? – испугалась бабушка.

– К этому... психу. К матери его – пусть она скажет своему оболтусу, чтоб не смел к детям лезть.

– Ох, Валя, ох, не ходи! Лучше обожди, пока Герман с рыбалки вернется, – бабушка знала, что характер у мамы независимый, и отговаривала без особой надежды.

– Вот еще, – мать одернула перед зеркалом жакетку, поправила волосы и взялась за ручку двери, – я и сама управлюсь.

– Я с тобой, – засуетилась бабушка.

– Ладно, – разрешила мама. – А ты дома сиди. Жди.

И они вышли из комнаты и решительно двинулись по длинному коридору нашей коммуналки.

Разумеется, я ждать не стал, а пошел за ними следом – только не так решительно.

Был воскресный день, летний, погожий. Он вмещал все – и солнце, и небо с ватными ленивыми облаками, и этот двор – с дубом, тополем, кустами боярышника, деревянными теремами, голубятнями и подвалами, дровяными сараями, возле которых росла мягкая гусиная трава. В этом дне всему и всем хватало места: старик Кокоркин и одноногий дядя Петруша сидели на лавочке, курили «Беломор» и беззлобно спорили о том, у кого довольствие в войну было лучше – у летчиков или же, наоборот, у моряков-подводников.

Красавица Вера, дочь старика Кокоркина, сидела у открытого окна, наводила марафет перед зеркальцем и ждала,



когда к ней придет свататься усатый югослав – капитан, с которым она познакомилась на танцах в Доме офицеров.

Василь Василич шел за обедом. Студенческая столовая по случаю выходного была закрыта, и он направлялся в общагу №2. Путь предстоял неблизкий, и он двигался стратегически медленно, чтобы успеть к моменту, когда борщ только-только сварен и весь навар еще не вычерпан. Тогда никто не знал во дворе, что Василь Василич когда-то и впрямь имел отношение к стратегии – военной, разумеется. Ах, нет, об этом знала, конечно, Зинаида Васильевна, вовсе не сестра, а действительно супруга бывшего полковника царского Генштаба. Но она никому об этом не рассказывала, поскольку недавно, лет семь, а может, двадцать назад их сына...

Вот с тех пор она и молчит.

Молчала и пенсионерка Раиса Петровна, сидя у своего крыльца на гнупом венском стуле. Хотя ей-то было, что сказать-рассказать о каждом дворецом человекке. Только спицы, блестя на солнце, позванивали у нее в руках, клубок шерсти скатывался на траву, а глаза зорко приглядывали за тем, что делается вокруг.

На заднем дворе шла суета – и ее вмещал этот день тоже. Вадька и его слепой отец резали курицу. Вернее, пытались это сделать.

Белая птица покорно лежала на щербатом чурбане грудью вверх. Видимо, ее быстро перевернули на спину и она была как бы под гипнозом. Слепой держал ее за связанные ноги, всем телом откидываясь назад и отворачивая лицо.

– Руби, Вадька!

Вадька неуверенно помахивал топором, топчась и примериваясь.

Курица трепыхнулась было и затихла. Вадька отскочил от чурбака и подошел к нему снова.

– Давай, Вадька, – крикнул слепой, – изнемогаю! – надул щеки и зажмурился.

Курица слабо шевельнулась, и тут Вадька все же рубанул.

Топор стукнул в чурбак, курица выр-

валась из рук Вадькиного отца и взлетела, кудахча, на сарай.

– Эх, зараза, – досадовал слепой то ли на сына, то ли на себя, то ли на птицу, а может, на тетку Агашу.

Вадька стоял бледный, выронив топор, курица хлопала крыльями, пытаясь удержаться на скользкой крыше и недоумевая, отчего это ночь пришла так рано.

Меж тем сиял всевмещающий день – над двором и над городом, стрекотно гудя, летел самолет-кукурузник и разбрасывал по небу в честь какого-то праздника кружащиеся листовки.

Я хотел было – инстинктивно – побежать собирать их, но увидел, что цыганский двор, где только что были мои мама и бабушка, пуст. Это могло означать только одно – они уже вошли в тот дом, где жил Валерка.

Дом этот, скорее всего, можно было назвать бараком. Построен он был гораздо позднее всех дворовых домов. До войны в нем жили цыгане. Жили, да сгнули куда-то, а место возле дома с тех пор называли цыганским двором.

Мне этот сколоченный из деревянных щитов дом с узкими окнами без переплетов казался огромной цыганской кибиткой, вросшей колесами-корнями в землю до той поры, когда придет время снова тронуться в дорогу дальнюю да ночью лунною.

Так, бывало, певали в подвале у нашего слепого его голосистые приятели.

Но теперь, повторяю, была не ночь лунная, а день, в котором находилось все.

Я осторожно подошел к барачу-кибитке, сел на непременно лавочку и стал слушать. Изнутри доносились тягучие звуки баяна – это Валерка наигрывал любимый вальс «На сопках Маньчжурии»...

«Тихо вокруг, только не спит барсук...» Нет, это было позже.

А тогда – в том дне – вначале баян вякнул и умолк, и послышались голоса. Монолог, диалог, а потом – крик:

– Да мы с ним только играем! Играем! А-а-а!

Хлопнула дверь, кто-то побежал внутри к выходу. Затем раздался железный грохот – по-видимому, обрушились какие-то ведра и тазы.

Мои мама и бабушка выскочили из кибитки и довольно резво затрусили в сторону нашего дома, очевидно, рассчитывая застать меня там и...

– Псих! Псих! – приговаривали они, давая ходу.

К счастью, меня они не заметили. Не заметил меня и Валерка, который застрял в дверях барака. Его мать и бабка висели на нем, пытаясь удержать. Валерка был красный, рубаха на груди разорвана, а знаменитые брезентовые штаны полусползли, так как он зацепился ими о дверной крюк. Чуб бился о мокрый лоб, а из широкого командирского рта несло:

– Суки! Проститутки! Убью!

Я замер, а потом попятился, стараясь быть незамеченным. Так задним ходом я и вылез из цыганского двора. Бабка и мать все же втащили Валерку в дом. Дверь захлопнулась, а я споткнулся и налетел на тот чурбак, где еще пять минут назад лежала белая курица.

День сиял, звенел трамваями и спицами Раисы Петровны, последние лис-

товки еще кружились в воздухе, а Валеркины крики все доносились из неподвижной кибитки.

– Псих – он и есть псих. Не дрейфь, Индюк, – рядом стоял Вадька, уже, видимо, пришедший в себя. – Полей-ка мне на руки.

Я стал лить на его руки воду из большего эмалированного ковша. Вадька энергично их мыл и говорил:

– Ты не все лей, а потихоньку, струйкой.

– Вадька, – спросил я, – а что такое проститутки?

Вадька выпрямился, стряхнул капли с чистых рук.

– Да рано тебе еще об этом знать.

– Нет, скажи, Вадька, скажи.

Но Вадька повернулся и пошел к себе в подвал.

Я стоял во всевмещающем дне с заледеневшим внезапно сердцем. Листовок в небе не было, а ватные облака по-прежнему не двигались с места. Я переступил с ноги на ногу и увидел куриную голову с окровавленным, полураскрытым клювом, валявшуюся возле чурбана.

Глаза были подернуты сизой пленкой. Но мне почему-то уже не было страшно.

Сперматозоид инженера Воробьёва

116

Теплым августовским вечером, когда в садах, как известно, яблоки дождем шлепаются на землю, наводя наблюдательных людей на размышления, а практичных – на действия, во дворе собралась компания. Или ватага. Впрочем, нет. Ватага – это что-то движущееся, скачущее, активное. А эти сидели на бревнах, наваленных горой у брандмауэра – каменной противопожарной стены, примыкавшей к огромному сараю. Скорее, публика.

Сарай раньше служил конюшной. Построен он был, по всей видимости, гигантами из цивилизации, предшествующей нашей, – судя по объему, высоте крыши, уходящей под самые облака, и по циклопическим дубовым воротам, обитым таким толстым листовым железом, какого нынче и днем с огнем не найдешь.

Из этих ворот до Потопа выходили кони, на которых могли ездить разве что Святогор да Илья Муромец. А вот уже Добрыня Никитич был для таких коней жидковат. Не говоря об Алеше Поповиче.

Ну, а теперь в этом тереме хранились дрова, и водились мыши и привидения. Об этом знали все, а потому он соответственно и назывался – Сарай Смерти.

Его земляной пол был усыпан старой древесной трухой, каким-то мелким мусором, а внутреннее пространство напоминало соты – десятки хозяев разгородили площадь на сарайчики, сараюш-

ки и клетки, снабженные крепкими висячими замками. Замки являлись бесполезными украшениями хлипких дверей, поскольку каждую из них можно было легко выломать из такой же хлипкой дощатой переборки. Как ни странно, о случаях взлома никто давненько не слышивал. Видимо, потому, что красть было решительно нечего – отсеки забиты всяким хламом, сложенным сюда за ненадобностью.

Только одно строение под высокими стропилами выделялось своей основательностью. Это гараж, принадлежавший дяде Леше, Андриюшкиному отцу – бывшему военному летчику, а ныне инженеру. Был он, по определению дворовых жителей, справный мужик, а потому и гараж у него отличался добротностью хорошо оструганных досок и непробиваемой крышей из авиационной «спецфанеры».

В гараже стоял «Москвич» – первый послевоенный жучок-фольксваген, технический трофей, ставший русским народным автомобилем.

Бревна были навалены так, что образовали нечто вроде амфитеатра. Зрители – ребята из нашего двора – сидели, как кому удобно: кто, оседлав могучий ствол, кто вразвалку, кто полулежа, кто, опершись на острые колени подбродком, – слушали.

В окнах домов уже зажигались огни. Где-то сияла голая лампочка под потолком, где-то светилась настольная лампа, а кое-где – у людей зажиточных –

уютно и мягко колыхался оранжевый свет заветного абажура с шелковыми кистями. Еще не было в нашем дворе телевизоров, и только радиомузыка доносилась из комнат, да звяканье посуды, да по-вечернему приглушенные голоса.

Наш бревенчатый Колизей был слабо освещен уличным фонарем. Я выступал в роли гладиатора-самоубийцы, стоя внизу, где земля была усыпана опилками и корой.

Сегодня мне, вернее, моему герою, предстояло умереть – заканчивалась последняя глава истории о таинственном оружии, разящем все живое.

– ...И когда раздался новый удар грома, из квартиры инженера донесся леденящий душу крик. Это была очередная жертва, так и не понявшая, что же случилось, отчего же сильное тело боксера отказывается подчиняться и цепенеет, словно змея на морозе. Последнее, что увидел непобедимый чемпион, – это собственное отражение в оконном стекле: желтая мумия! Он тоже стал мумией! Меж тем смертоносный луч продолжал свою страшную работу...

Тут я остановился, чтобы перевести дух и заодно придумать, что же будет дальше.

Мой устный сериал – о да, это был сериал – подходил к концу. Но я еще не знал, как все-таки его завершить, как свести воедино всю таинственную чушь, которую там нагромоздил – и расколотую взглядом гипнотизера египетскую пирамиду, и сверхсекретную лабораторию в жерле вулкана Килиманджаро, и письмо с Марса, найденное на месте падения Тунгусского метеорита, и план злодея, решившего мумифицировать человечество...

Накануне я прочитал роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Он меня потряс, хотя, по правде говоря, я не все в нем понял. Впрочем, это было естественно для любителя чтения восьми лет от роду. Я прибавил кое-что из «Копей царя Соломона», что-то из «Приключений Шерлока Холмса»,

что-то из сочинений Александра Беляева, а что-то наплел сам. Получился – ералаш. Но зато какое название! Лучше не придумаешь! А главное, похоже на толстовское.

«Сперматозоид инженера Воробьева».

Непонятно, но здорово! Потому и здорово, что непонятно... Правда, временами мне казалось, что где-то я уже слышал это слово. Но так и не вспомнив – где, я гордо продолжал считать себя его создателем. Мороз вдохновения рождался в темени, полз по затылку, шее, спине между лопатками, голос мой звенел во влажных сумерках, эхом отлетал от светящегося экрана стены и обрушивался на амфитеатр, где сидели притихшие товарищи.

* * *

Двадцатый век двигался к концу. Золотел сентябрь. Я стоял на том же самом месте и смотрел на белеющую в сумраке стену – все, что осталось не только от сарая, но и от всего нашего двора. Временами казалось, что по стене ползут, перемещаясь, тени – чьи-то профили, вихрастые головы.

За много лет все так изменилось, перестроилось, нельзя было и представить, что вот здесь, на месте выставочного зала, мы гоняли по траве футбольный мяч – лопнувший, зашитый, снова лопнувший, уже в другом месте, и снова зашитый...

А тут, на месте художественных мастерских, где соцреалистические полотна с доярками, трактористами и строителями новой жизни стремительно уступили место несколько запоздалым шедеврам в духе Сальвадора Дали и постмодернизма, не так давно располагались деревянные дома с глазастыми окнами и резными наличниками, подслеповатые домишки, слепые сараи, курятники, а также дворový сортир, крашеный белой известкой и украшенный отдушиной в виде сердечка.

А вот здесь резали свинью, заглу-

шавшую предсмертным визгом грохот «Танца с саблями» из дядилешиной новехонькой радиолы, врубленной на полную катушку.

А здесь я впервые увидел воочию, чем же девочка конкретно отличается от мальчика – лишь восхитительной гладкостью.

А здесь меня безуспешно пыталась забодать коза, возвращавшаяся домой из заливных лугов, что лежали за Коровьим мостом через Казанку. Ее слегка загнутые, туповатые рога, в которые я отчаянно вцепился, на ощупь напоминали баранку автомобиля.

А здесь мне разбили нос... А здесь я разбил его соседу Андрюшке... До сих пор обидно: когда – мне, так дома еще за это и наподдали. Не будь слабаком. А когда – я, снова наказали. Мол, не хулигань...

А здесь, а здесь, а здесь, а здесь... Взгляд снова остановился на брандмауэре. Вкусное слово. Его любили употреблять Катаев и Паустовский. Безветренный воздух стал почти фиолетовым, ласточки и стрижи оголтело прочерчивали его как и когда-то. Только это уже были дальние потомки тех ласточек и стрижей, что носились вместе с нами в детстве. Для этого птичьего народа прошло, наверное, не менее тысячи лет.

Стена фосфорно светилась в темноте, никаких бревен, разумеется, уже не было, никакого амфитеатра... Только пристроенные гаражи и асфальт в потеках масла и бензина. Я подошел ближе. На краю стены, кажется, что-то было написано – кратко, большими буквами. Вгляделся – нет, ничего. Только почти стертые снегом, дождями и временем черточки и пунктиры.

* * *

...Сарай Смерти по структуре напоминал известную притчу:

«...Сундук кованый, а в нем – медведь бурый, в медведе – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – игла, а в

игле той – смерть Кашеева». Ну, конечно же! Сарай-конюшня, а внутри – гараж, в гараже – «Москвич», в «Москвиче» – багажник. Но что таилось в багажнике под чистой ветошью, знал только дядя Леша. О, золотозубый дядя Леша, в чьем доме по субботам бешено вертелась пластинка – 78 оборотов, Арам Хачатурян, «Танец с саблями», извольте! – в чьей памяти еще дремало грозное гудение легендарного штурмовика Ил-2.

Так вот, в багажнике своего народного автомобиля дядя Леша содержал некий сосуд, в котором таилась отнюдь не смерть – там бултыхались все сказки, читанные им и еще нечитанные. Там плескалось забвение, там дремала вечность.

О ней, по всей видимости, и думал дядя Леша, когда в очередной раз выходил из своего гаража юным и веселым, словно из сада с молодильными яблоками. И совершенно неважно было, что количество сказок в сосуде несколько уменьшилось после очередного визита в гараж. Главное, что жена занималась своими делами и не вмешивалась в серьезную мужскую жизнь. А запас сказок завтра можно и пополнить.

* * *

– Что вы ищете, гражданин? – ко мне подвалила невысокая женщина дворничьего вида. И откуда она взялась?

– Просто смотрю.

– А тут картин нету, картины – рядом, в выставочном зале, только он закрылся, а здесь гаражи и смотреть нечего, – она, очевидно, приняла меня за угонщика.

– Вы не волнуйтесь. Просто я жил когда-то в этом дворе.

– А чего мне волноваться, это ты волнуйся, ща как свистну – в момент заметут, – она достала из кармана полицейский свисток, – у нас тут пост, понял?

– По-моему, пост уже закончился, – попытался пошутить я, – можно и колбасой закусывать.

– Чего-о-о? Я те дам колбасу, я те,

блин, такую колбасу дам! – и она решительно поднесла короткий черный свисток к губам и дунула. Щеки надулись, опали. Снова надулись – снова опали.

– Блин, – произнесла она, как-то подевически растерянно моргая, – вот блин.

– Засорился, наверно, – я посмотрел на нее со всем сочувствием, на какое был способен.

– Наверно, – улыбнулась она и снова моргнула, подтверждая свое согласие. Раз-два, раз-два. Ресницы длинные, а глаза – фарфоровые. Раз-два, раз-два. Совсем, как тогда, в детстве. Или все-таки в отрочестве?

Ну, конечно же, это она. Ляля, Лялька Зайцева, та самая, кого так боялись матери нашего двора. Та, что жила в соседнем пятиэтажном доме, в квартире с удобствами, а на нашу территорию приходила гулять. Кроме прогулок, ее привлекала популярная детская игра «больница». Она отдавалась ей с самозабвением, охотно исполняя роли врача, медсестры, пациентки и наглядного пособия. Разумеется, ее «приемный покой» располагался в одном из укромных уголков Сарая Смерти, где же еще.

«Привет, Лялька», – хотел было сказать я. Но вместо этого произнес:

– Надо дунуть с другого конца – тогда, может, заработает.

– Да? – Лялька недоверчиво глянула на меня, потом на свисток, перевернула его и дунула. Фарфоровые глаза округлились, брови взлетели. Свисток коротко чирикнул, в горле его катнулась горошина. Но залиистой трели так и не вышло.

– Эх, – посетовала она, – штампуют всякую дрянь, не то что раньше.

– Да, – посочувствовал я, – раньше свистки были лучше, звонче.

– Раньше все было звончей, – мрачно сказала Ляля. – Ладно уж, гражданин, идите себе.

– Иду, иду, – покорно согласился я. – Пять минут постою – уйду. Можно?

Она взглянула на меня. «Нет, этот не угонщик». Ресницы хлопнули, как будто что-то припоминая. Раз-два? Раз-два?

– Да стойте на здоровье, хоть до утра.

Я остался возле стены один. Прогремел трамвай, рассыпав несколько зеленых искр. Стрижи и ласточки, видно, разлетелись по домам. В небе с отсветом городских огней бледно проступили звезды. В такой час – между вечером и ночью – можно увидеть то, что происходило много лет назад, услышать голоса, а при желании даже и запахи прошлого. Вот и теперь откуда-то явственно потянуло свежееотесанным деревом. Время застыло в этом запахе, словно мошка в смоле.

* * *

У стены на бревнах сидела наша дворовая команда. Медноволосый Женья Матюшин, курносый крепыш Юрка Бобров, братья Флоксы, братья Ананьевы, Фарид – по кличке «татарин», и другой – просто Фарид, Витька Бякин – сын глухонемых, и Виталька Спиринов – сын слепых, Юрка-цыганенок, Валерка-псих...

Сквозь кристалл времени я отчетливо вижу, что с каждым из них я навсегда связан чем-то общим, неразъединимым, ведь прошлое – это единственная вещь, которую нельзя ни улучшить, ни ухудшить. И нельзя расстаться ни с дворовым побратимством, ни с простым соседством, ни с серьезной игрой или несерьезной дракой, ни с безуспешной влюбленностью в одноклассницу, ни с безутешной ревностью, ни с детскими клятвами в вечной дружбе, ни со всегда взрослым предательством. И неважно, что за много лет столько всего случилось с нами – с каждым по отдельности, со всеми вместе. Там, в нашем дворе, поросшем гусиной травой, мы неизменно рядом. Целая толпа. Аншлаг! Ну, а я – один, все стою и стою, не будучи в силах завершить рассказ о самом грозном оружии на свете.

– «И когда они, значит, вошли в этот город, то оказалось, что там нет ни од-

ного живого человека – только мумии, мумии, мумии... Одни желтые мумии.

– А дальше что?

– Дальше? А... ничего. Это все, конец.

– Как это – все? А где же Воробьев?

– Я же рассказывал – исчез в пирамиде.

– Ты это брось, Индюк. Что же, выходит, его, гада, не поймали?

– Выходит – нет.

– Ну, это ты врешь! Гадов всегда ловят.

– А этого – нет.

– Так не бывает.

– Бывает. Вон у Раисы Петровны на прошлой неделе две простыни да полотенце с бельевой веревки какой-то мужик сорвал. И никто его до сих пор не поймал.

– Ну, ты скажешь тоже. Одно дело какой-то случайный вор, кому, небось, на бутылку не хватало, а тут – мировой злодей.

– Да ведь он в пирамиде скрылся.

– Ладно, Индюк, не свисти. Пирамида-мирамида, а КГБ везде найдет. Или, по-твоему, он умнее КГБ, а?

Крыть было нечем – я не знал, что и ответить. И тут на память пришла история с ножным луком. Может, она поможет выкрутиться?

Толстая историческая книга, написанная отцом известного ныне юмориста Михаила Задорнова, называлась «Путь к океану». Я прочитал ее недели две назад, и она не давала мне покоя. Вернее, одна ее глава – то ли «Бой», то ли «Битва».

Там еще рассказывалось про то, как хорошие нанайцы (то есть, понятно, те, кто был «за русских») сражались с плохими нанайцами. Среди плохих был богатырь, который мог руками натягивать особенный ножной лук. Все могли его натянуть только ногами, и то с трудом, а этот – вот здорово! – руками. Соответственно и дальноточность такого лука была несравнимо выше, чем у остальных. Правда, насколько я помню, богатырю его сила не помогла – надо же знать, на

чьей стороне сражаться за справедливость.

Идея сверхмощного лука отчего-то волновала. Луки у нас во дворе не делал только ленивый. Но что это были за луки – так, название одно! Может быть, их делали чересчур поспешно, может, не было подходящего дерева, может, для тетивы требовался другой материал, а может, технология изготовления была слишком примитивной. Одним словом, стрелы и летели не так быстро, и свистели не так впечатляюще, как в новом широкоэкранный фильме «Илья Муромец» – с Борисом Андреевым в главной роли.

Кстати, стрелы сами по себе как раз были не так уж плохи. Их любовно выстреливали из реек и досок, добытых в Сарае Смерти. Их полировали шкуркой, оснащали перьями и насаживали наконечник. Да не какой-нибудь завалящий, скрученный из консервной банки, а настоящий боевой. Для этого устраивали вылазки на стрельбище суворовского училища, где так волнующе пахло порохом, откуда доносились хлопки пистолетной пальбы, сухой треск автоматных очередей и резкий лай карабинов.

Стрельбище располагалось в лощине, заросшей бузиной и черемухой, поэтому все эти чарующие звуки были слышны только с близкой дистанции. Тем интереснее казалась задача – вначале пробраться на территорию суворовского училища (это, положим, не составляло особого труда, поскольку в ограде были прорехи), а затем терпеливо подождать, пока сурики закончат учебную стрельбу и уйдут обедать. Тогда можно вволю наковырять из толстых деревянных щитов пуль, многие из которых полностью сохранили форму. Самыми лучшими считались пули от карабина – острые конусы их больше всего походили на боевой наконечник стрелы. Впрочем, годились и округлые автоматные – чуть меньшего размера. А если их не было, то вполне подходили и тупые пистолетные. В крайнем случае, можно насобирать стреляных гильз и насадить их на стрелы. Но это уже халтура.

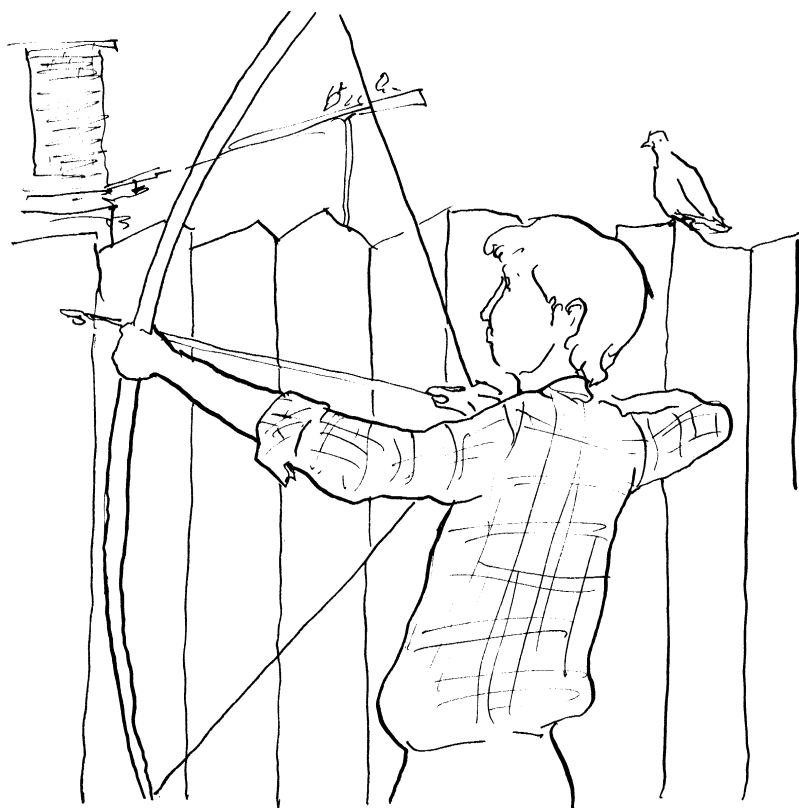
После того, как урожай пуль собран, первое, что надо сделать – это выплавить свинец из медной оболочки, сделать ее полой. Как написал бы журнал «Юный техник»:

«Возьми какую-нибудь жестянку, ну, скажем, баночку из-под ваксы, положи в нее пули и ставь на медленный огонь. Вооружись плоскогубцами – брать раскаленную пулю, из которой медленно вытекает свинец. Совсем немного труда – и наконечник готов. Насаживай да стреляй».

Куда? А куда хочешь. Можешь в забор, можешь в многорадальный дво-

ровый тополь, можешь в небо запустить, а можешь и по воробьям. Только вряд ли попадешь.

Итак, стрелы у меня были – целых четыре. Оставалось сделать лук. Тот самый, ножной, как в книжке – огромный, тяжелый и дальнобойный. После долгих поисков я нашел в парке крепкий сосновый сук, слегка изогнутый и достаточно длинный, – то, что надо! Я принес его домой, очистил от коры и часа три корпел, неумело обтачивая отцовским охотничьим ножом – так, чтобы лук походил на настоящий богатырский. В точности, как на картинке из книж-



ки «Русские богатыри». Ну, может, не совсем так... Один конец получился значительно тоньше другого. Но все-таки размер впечатлял – гораздо больше меня ростом. Теперь дело было за тетивой.

Конечно, по правилам ее полагалось сплести из волос заколдованной принцессы или из жил тура. Но поскольку у соседской девочки Лизы волосы были короткими, а туры у нас во дворе не жили вовсе, пришлось залезть в отцовский рыбацкий ящик и позаимствовать прочную тонкую веревку. Еще немного – и лук будет готов!

Я уложил веревку в паз, вырезанный на конце лука, обмотал для верности два раза и сделал настоящий морской узел, которому меня научил дядя Петруша, служивший в войну на линкоре. Оставалось натянуть лук, то есть согнуть его и приладить тетиву-струну к другому концу.

И вот это у меня как раз и не вышло. Как я ни старался, не удавалось согнуть сук так, чтобы он принял собственно лукообразный вид. У меня просто-напросто не хватало сил. Габариты явно не соответствовали моим возможностям. Делать было нечего, я сложил грозное оружие в несобранном виде за шкаф в надежде, что когда отец приедет из командировки, то уж наверняка сумеет помочь – он все может.

Про этот-то лук я и вспомнил, зайдя в тупик со своим рассказом о непойманном злодее Воробьеве.

– Ребя, – сказал я, – ребя, я потом расскажу, как там все закончилось. Я вам сейчас лучше ножной лук покажу.

– Чего-чего? – закричали сразу несколько возмущенных. – Какой еще ножной лук? Давай досказывай про сперматозой!

Я начал азартно излагать нанайскую историю, но в это время со стороны нашего дома донесся рев:

– Фярид, киль мэнда! Киль! – что по-татарски означало «иди сюда, Фарид, а то башку откручу».

Ясно, это был отец Фариды-татарина

– дядя Миша. Как ясно было и то, что он снова напился и впал в буйство.

Такое случалось с ним нечасто, но регулярно. Дядя Миша работал конюхом в какой-то таинственной организации, где, по всей вероятности, ставили опыты на лошадях. Что это была за контора, какие опыты там производились – неизвестно. Да никому тогда и дела до этого не было. Как и до того, почему у супругов Рахматуллиных русские имена, а у детей их – татарские. То ли интернационализм пошел на убыль после смерти вождя всех народов, то ли соседи попались такие хорошие – способные чисто выговаривать восточные имена?

Кроме Фариды – старшего сына, у дяди Миши и тети Маруси были три дочери: Фирая, Флюра и Накия. Жили они по соседству с нами – в отдельной комнате, усиленной удобством в виде самостоятельной печки. Их единственное окно так же, как и наше, выходило на север и упиралось взглядом в Сарай Смерти.

Жена дяди Миши очень расстраивалась, когда муж приходил домой пьяным. Но, как мудрая женщина, не позволяла себе сразу высказать свое возмущение мужниным состоянием. Она раздевала дядю Мишу, кормила ужином, если у него еще оставалось желание кушать что-нибудь, кроме водки, укладывала спать на полу, постелив предварительно овчинный тулуп.

Дядя Миша перед тем, как заснуть, собирал детей вокруг себя и объявлял им о том, что сейчас он умрет. А они должны слушаться маму, помогать ей и учиться только на пятерки. Дети привычно рыдали, кидались к отцу и просили не умирать. Но дядя Миша был непреклонен. Он тоже плакал, обнимал детей и в отчаянии бил себя по голове изуродованной на войне рукой-культетей. Тетя Маруся стояла несколько в стороне от прощального целования супруга и детей и ждала, когда дядя Миша устанет умирать и заснет. Ночь надвигалась на землю, все успокаивалось – и в тишине слышались только редкие стоны дяди Ми-

ши, одинокие вздохи тети Маруси, легкое посапывание будущих отличников и помощников да почти беззвучная поступь рослого черного кота, пробиравшегося меж спящими к блюдку с молоком.

Утром разговаривать было некогда: детям пора в школу, тете Марусе – в детский сад, где она работала уборщицей, а дяде Мише – к своим лошадам. Но тетя Маруся была природным психологом – она знала, что именно теперь, когда нет времени на разговор, надо его заводить. Она начинала издали, когда муж, кряхтя от головной боли, садился за стол, где уже ждал его спасительный айран – кислое молоко пополам с водой.

– Пророк Мухаммед запретил правоверным пить вино. «Первая капля его губит человека», – так он говорил.

Дядя Миша судорожно заглатывал айран, ставил помятую алюминиевую кружку на колено, обреченно смотрел в пол.

– Зачем ты опять говорил детям, что умираешь? Зачем меня мучаешь? Аллах все видит, да не все прощает.

Дядя Миша опрокидывал еще одну кружку и начинал оправдываться. Суть его оправданий всегда сводилась к одному. Мол, все это из-за войны проклятой. Да-да! Когда он, раненый, лежал в госпитале, ему перелили чужую кровь. И, скорее всего, русскую. Вот она время от времени и просит водки, а как только получает, начинает бушевать. Он-то, правоверный мусульманин, и рад бы не пить, но ничего не может поделать, не может справиться с чужой кровью.

Так он говорил, сидя на табурете и горестно глядя перед собой еще осоловелыми, но начинающими яснеть глазами. Его крепкая круглая голова была чисто выскоблена, по ней расползались материи и острова пигментных пятен, лицо же в оспинах почти не знало бритвы – борода и усы росли неохотно, и поэтому издали дядю Мишу можно было принять за мальчика, коренастого и мускулистого.

Тетя Маруся еще продолжала его

стыдить, но в глубине души уже понемногу прощала, потому что жалела и помнила, что именно к ней вернулся с фронта израненный Миша, ее любимый Мидхат. К ней, а не к этой гадюке Гюльназ, хотя та и считалась у них в деревне первой красоткой. Она подходила к мужу, гладила его по голове, по горячему виску, смотрела на длинный атласный шрам на спине, на родную изувеченную руку, лежащую на зеленой клеенке стола, и тихо шептала:

– Ладно, ладно, все будет хорошо. Трудно тебе, знаю. Только не делай так больше, не пугай детей, меня не мучай, себя побереги.

Дядя Миша прижимался к жене, к своей желанной Марьям – щекой к груди, обхватывал ее за пухлую талию здоровой рукой и так застывал на несколько секунд, чуть покачиваясь на табурете и мыча что-то нежное, деревенское, степное. Потом он вставал, облегченно произносил «Алла бирса!» и шел, уже вполне оживший, к старому медному ручкомойнику, висящему над тазом у входной двери.

Ну, а сейчас он в очередной раз призывал к себе старшего сына, чтобы объявить ему о своей кончине.

Фарид понуро поплелся в сторону дома. Количество зрителей стало меньше на одного, причем не самого темпераментного. Оставшиеся требовали крови.

– Давай, Индюк, досказывай про Воробьева! Про лук завтра врать будешь, – Валерка-псих, шестнадцатилетний верзила, был настроен агрессивнее всех. – Раззадорил, а теперь хочешь в кусты? Не выйдет.

– Правда, Индюк, доскажи, чего дальше с этим гадом стало, тебе же лучше будет, – авторитетно сказал Женька Матюшин.

Он считался у нас самым справедливым, кем-то вроде арбитра. Может быть, оттого, что был нетороплив, рассудителен, в драку попусту не лез, а если все же приходилось с кем-то выяснять отношения при помощи кулаков, ни-

когда не пользовался запрещенными приемами, вроде удара коленом... сами понимаете, куда.

– Я не вру, ребята. Про Воробьева, честное слово, в следующий раз доскажу. Я ведь еще и сам не знаю, куда он делся. А лук могу показать прямо сейчас.

– Ну, Индюк, если соврал, пеняй на себя, – Валерка-псих поднес к моему носу большой мосластый кулак. – Гони за своим нанайским луком, но, смотри, только попробуй не вернуться!

Я побежал домой.

В длинный коридор нашей коммунальной квартиры выходило шесть дверей – не так уж и много по тем временам. Пять семей и чулан. Впрочем, одинокого товарища Любарского можно было семьей не считать. Собственно, даже за простого бобыля его было держать затруднительно. Личность таинственная, почти что человек-невидимка. Во всяком случае, я его видел всего один раз за всю свою жизнь и то случайно, когда он поздним вечером на цыпочках крался с ведром по коридору, чтобы набрать воды из общего крана.

Увидев меня, он дернулся, расплескав воду. Лицо его исказилось страхом, он судорожно закрутил кран, так и не наполнив ведро, и рванул в свой угол, скрылся за дверью, обитой истертым дерматином.

Про него говорили, что он работает на железной дороге, что у него никогда не было жены, а только невеста, отказавшаяся выйти за него. По другой версии, он отказался жениться на ней в последний момент перед самой свадьбой. Бедная девушка в костюме невесты долго стучалась в его дверь, а он не открывал. Почему – никто не знает.

Соседка из подвала нашего дома тетя Рая рассказывала, что все было не так. Что невеста все-таки достучалась до товарища Любарского, зашла к нему в комнату да так оттуда и не вышла. Родители искали-искали дочку – и не нашли. А к себе Любарский их не впустил – нечего, мол, делать.

Тетя Рая жила как раз под комнатой Любарского и утверждала, будто по ночам оттуда доносятся тихие девичьи стоны.

– Истинная правда, – она страшно выкатывала глаза и в доказательство мелко-мелко крестилась.

Но как раз поэтому ей никто не верил, поскольку верили только в таблицу умножения и облигации «золотого» займа.

Я забежал в чулан, где хранился лук, достал из-за шкафа и поволок к ребятам.

– Вот, смотрите, – и я гордо поднял тяжелый лук над головой.

Ребята стали один за другим подниматься с бревен, чтобы рассмотреть оружие.

– Да это не лук, а какая-то удочка с веревкой, – сказал Володька Козлов.

– Он просто не натянут, тугой очень.

– Не натя-а-анут, – передразнил меня Юрка Бобров. – Ну, так натягивай давай.

– Я уже пробовал – не выходит.

– Дай-ка сюда, – властно произнес подошедший вразвалочку Валерка-псих.

Он презрительно осмотрел сук и попытался согнуть его. Шея напряжилась, он покраснел – но упрямое дерево не поддавалось, скользило и вывертывалось. Тогда Валерка зажал лук одним концом в щели между бревнами и стал медленно сгибать. Все следили, затаив дыхание, словно гости Пенелопы за действиями претендента на руку италийской царицы.

Раздался оглушительный треск – толстый обломок остался торчать между бревнами, а более тонкий конец щелкнул Валерку по лбу, Валерка взревел:

– Уй, падла! – схватился за лоб и яростно повернулся ко мне.

– Ты, нанаец засранный! Фантазер хренов, я тебе щас глаз на жопу натяну!

– Тихо-тихо! – между нами встал справедливый Женя Матюшин. – Спокойно. Индюк тут ни при чем – это же ты лук сломал, а не он.

– Не он, не он! – еще громче заорал Валерка, подтверждая свое прозвище «псих». – Не он, не ты, а я, я, я! Я! Голровка от...!

Он завертелся по сторонам, ища, на чем бы сорвать злобу, и обнаружил, что еще держит в руке так и не состоявшийся ножной лук, вернее то, что от него осталось: палку метра в полтора длинной. Валерка вспрыгнул на бревно, лежавшее у брандмауэра, и несколькими хлесткими и на удивление точными, можно сказать, каллиграфическими ударами высек краткое универсальное слово на свежей белой штукатурке. После этой экзекуции он моментально успокоился, звучно шмыгнув носом и соскочил на землю.

Как ни странно, это маленькое происшествие отвлекло внимание ребят от неоконченной истории. Начали спорить о том, у кого луки были лучше – у русских или у татар. Кто-то сказал, что самые дальнобойные делали китайцы, а кто-то утверждал, что индейцы. Потом заговорили о стрелах, о смертельном яде кураре, которым смазывали наконечники. А еще трепались о мечах из булатной стали, затем перешли к дискуссиям об огнестрельном оружии: какой автомат сильнее – «Калашников» или же «шмайсер».

– Калашников, – по-бычьи нагнув голову, цедил Юрка Бобров.

– Шмайсер, – интеллигентно-занудным голосом тянул Сеня Флокс.

– Калашников!

– Шмайсер.

– Калашников!!!

– Шмайсер.

– Ага-а, – зловеще пропел Юрка. – Шмайсер-вайсер!

– Я понял, – тихо и горестно сказал Сеня, криво усмехнулся и врезал Юрке по морде.

Тот дал сдачи – и вот уже оба они покатались по грязным опилкам между бревен, обнявшись крепче двух друзей. Когда их разняли, у обоих шла кровь: у Юрки – из носа, у Сеньки – из рассеченной губы.

– Гад! – крикнул Юрка, удерживаемый за руки. – Я же пошутил. Гад!

– Я понял, – кротко согласился Сеня. – Я тоже пошутил. Бога, пошли домой. Мама уже пожарила картошку.

Его младший брат Боря в детстве не выговаривал букву «Р» и на вопрос «как тебя зовут?» отвечал «Бога». Теперь он научился произносить восемнадцатую букву алфавита вполне чисто, но все – в том числе и брат – продолжали звать его Богой.

«Спроси у Боги», «скажи Боге», «мы с Богой», «забыли Богу» – эти фразы врезались в мою память, как некое фонетическое подтверждение реальной богочеловеческой сущности, живущей по соседству.

И Сенька с Богой ушли домой – кушать жареную картошку.

Валерка-псих дождался, когда их силуэты растают в сумерках, и подошел к Юрке Боброву. Не обычной своей разбитной походочкой подошел – медленно.

– Еще раз такое услышу, задавлю, – он взял Юрку за грудки, тряхнул так, что отлетели пуговицы. – Пошел вон отсюда, вертухайское отродье!

По тому, как он задышал, стало ясно – задавит. Юрка высвободился из разжавшейся психовой лапищи, посмотрел на порванную рубашку, заскулил и побрел к своему дому.

Между тем вечер стал фиолетовым, звезды проклюнулись на чистом от облаков небе и привычно задрожали. Время от времени какая-нибудь из них срывалась с места, безуспешно пытаясь долететь до Земли. Август!

Но было еще тепло, расходиться не хотелось. Драка через минуту забылась – дело привычное, и мужской разговор возобновился, перешел к современному оружию. Так постепенно – от автоматов к пулеметам, от танков к истребителям – добрались мы и до атомной бомбы.

Главных вопросов спора, мгновенно разгоревшегося вокруг этого страшнейшего изобретения, было два. Во-первых, действительно ли атомная бомба по раз-

мерам ничуть не больше обычной авиационной. Во-вторых, может ли она разрушить такой город, как наш.

– Ха! – сказал Сашка Антонов. – Да она совсем маленькая, почти как ручная граната.

– Ну, откуда ты это можешь знать? – скептически спросил просто Фарид. – Это военная тайна.

– От деда. У него брат на секретном подземном заводе работает, там их и делают.

– Ага, от деда. А тот – от сестры дяди-кожиной тещи, – съязвил Борька Бякин.

– Не от сестры, а от брата.

– Да, сейчас он так прямо и расскажет про свой завод – держи карман шире, – не унимался Бякин. – А если и вправду рассказал, то он, получается, предатель, враг народа. И его надо – к стенке.

– Заткнись, Бякашка, – мрачно процедил Валерка-псих. – Теперь врагов народа нету. А раз нету – нечего и вякать. Враг народа, враг народа! Говнюки вы все... молокососы... надоели.

Псих встал с бревна и моряцкой походкой пошел к своему одноэтажному

дому, похожему то ли на барак, то ли на вросший в землю цирковой фургон. По пути он, не глядя, одной рукой сильно натянул Бякину на глаза кепку, а другую одновременно вскинул в древнеримском приветствии.

– Зиг хайль, товарищ Сталин! – крикнул он нелепо и бесстрашно и исчез во мраке, навалившемся на двор.

Бякин с трудом стащил кепку с глаз.

– У, псих! – буркнул он себе под нос, опасаясь, как бы тот его не услышал.

– Женька, – спросил я справедливо-го Матюшина, – чего это он сегодня расчиховался, а?

– Обычное дело, – степенно ответил Матюшин. – Будто ты не видел. И добавил загадочно:

– Есть причины.

Тут я услышал свое имя, протяжно несущееся из нашего окна. Это мама звала меня домой. Делать было нечего – надо идти.

И я ушел, не дослушав до конца интереснейший мужской разговор и так и не узнав, может ли одна маленькая атомная бомба разрушить такой большой и прекрасный город, как наш.